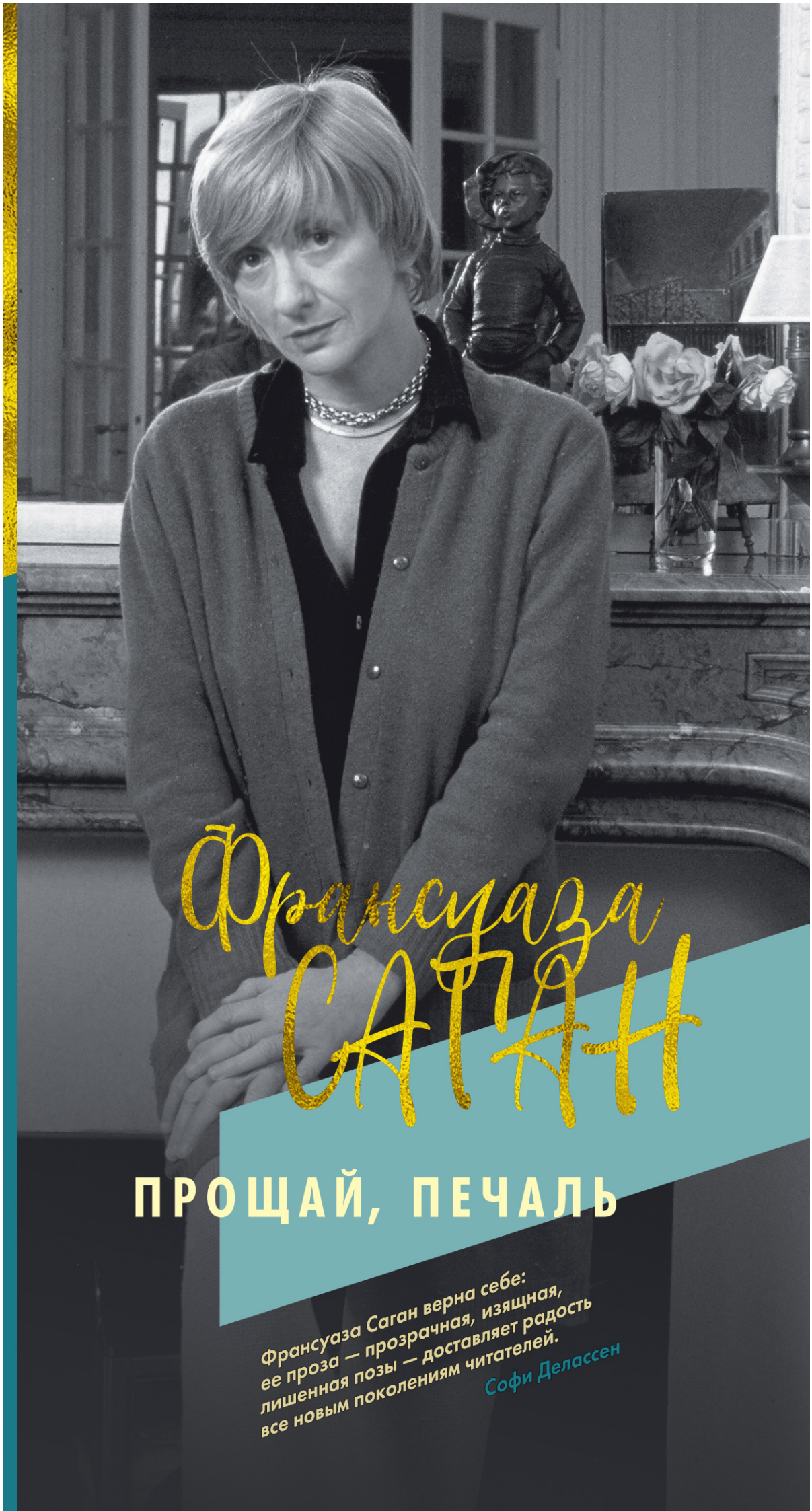

Франсуаза САГАН

ПРОЩАЙ, ПЕЧАЛЬ

Франсуаза Саган верна себе: ее проза — прозрачная, изящная, лишенная позы — доставляет радость все новым поколениям читателей.

Софи Делассен

Саган. Коллекция

Франсуаза Саган

Прощай, печаль

«Азбука-Аттикус»

1994

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Саган Ф.

Прощай, печаль / Ф. Саган — «Азбука-Аттикус», 1994 — (Саган. Коллекция)

ISBN 978-5-389-18259-2

Франсуазу Саган называли Мадемуазель Шанель от литературы. Начиная с самого первого романа «Здравствуй, грусть!» (1954), наделавшего немало шума, ее литературная карьера складывалась блестяще, она с удивительной легкостью создавала книгу за книгой, их переводили на различные языки, и они разлетались по свету миллионами экземпляров. Когда в 1985-м вышел ее роман «Прощай, печаль», писательница была полноправной героиней светской хроники, глянцевых журналов, скандалов и отчетов о судебных разбирательствах. «Прощай, печаль» – это роман о том, как стремительно может перемениться судьба. Провозглашенный в кабинете врача диагноз «рак легких» звучит как приговор. Сорокалетний архитектор Матье, благополучный прожигатель жизни, любимец женщин, покидает клинику полностью уничтоженным. Шесть месяцев… Ему осталось жить всего шесть месяцев. И этот факт заставляет его совершенно иначе взглянуть на друзей, любовь, на радости обыденной жизни. Франсуаза Саган верна себе: ее проза – прозрачная, изящная, лишенная позы – доставляет радость все новым поколениям читателей.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-18259-2

© Саган Ф., 1994
© Азбука-Аттикус, 1994

Содержание

Глава 1 7
Глава 2 11
Глава 3 16
Глава 4 20
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Франсуаза Саган
Прощай, печаль

Феликсу и Ингрид Мешул

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

Françoise Sagan
UN CHAGRIN DE PASSAGE
Copyright © Plon, 1994
Published by arrangement with Lester Literary Agency

Перевод с французского Владимира Львова

© В. В. Львов (наследник), перевод, 1999
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020 Издательство Иностранка®

Глава 1

– И как давно вы начали курить?

– Курю я всю жизнь, – уточнил Матье, не желая путем бьющей на жалость перемены грамматического времени порочить столь же постоянную, сколь и прекрасную привычку к табаку, пусть даже она оказалась фатальной. Хватит и того, что этот малосимпатичный, невзрачный врач предрек ему скорую смерть, так что незачем в дополнение к столь неприятной новости говорить о себе в прошедшем времени.

Нужно было не только взять себя в руки, но и не дать волю раздражению, обращенному по обыкновению на носителей дурных вестей. Однако мало-помалу Матье стал свыкаться с мыслью о близкой кончине… Странное дело, пошлость обстановки и безликий вид врачебного кабинета, как, впрочем, и приглушенный уличный шум, на фоне которого происходила эта банальная сцена, сказали ему о катастрофе больше, чем только что произнесенное слово «рак».

– Само собой разумеется, вам надо будет посоветоваться со специалистами, – проговорил невзрачный на вид врач, замещавший доброго старого доктора Жуффруа и одновременно являвшийся точной копией хомяка, по поводу чего при других обстоятельствах можно было бы и пошутить; врач, на которого Матье неосмотрительно положился, доверив ему проведение очередной ежегодной диспансеризации…

– Само собой разумеется, – вновь заявил врач, – такого рода новости нуждаются в подтверждении. Хотя в вашем случае – увы!..

Он размахивал рентгеновскими снимками легких Матье, как бы взвешивая их на ладонях, – снимками-снарядами, картами смерти из колоды Таро, – с каким-то своеобразным уважением, даже почтением к душевной стойкости пациента, а также к результативности собственных действий, позволивших получить вещественное доказательство существования «нашей», как он выразился, карциномы. А тут… нет, пациент, оказывается, не разделяет его мрачных восторгов, а ведь он-то должен был бы всем этим проникнуться! И с какой стати Матье должен был узнать самую важную новость своей жизни именно от этого дегенерата? «Итак, мне суждено умереть! Через шесть месяцев я буду мертв, меня больше не будет», – настойчиво повторял он про себя. Он удивлялся, что ничего не ощущает, и вновь слова начинали складываться во фразы, и в них сливались воедино неверие и страх, точно он ощупывал края открытой раны и не испытывал при этом никакой боли. «Через шесть месяцев не будет ничего! Я ничего не буду чувствовать! Меня, Матье, меня просто больше не будет!..»

И внезапно до него дошла реальность собственной смерти – обрушилась на него, точно удар, и, сидя в кресле, он согнулся пополам под тяжестью отчетливого воспоминания. Два или три года назад во второй половине дня он находился на трибуне ипподрома Эври и до такой степени погрузился в изучение программы, что даже не смотрел на выводку лошадей; и вдруг какая-то страшная штука прорвала программу и, слегка задев лоб Матье, заставила его резко отдернуть голову. Оказывается, взбрыкнула одна из лошадей, и оторвавшаяся подкова прошла всего в нескольких миллиметрах от него. Матье успел разглядеть, как этот смертельно опасный предмет, к железу которого прилипли шерсть и кусочки копыта, пролетел на уровне глаз и рухнул наземь. И Матье, к величайшему стыду, потребовалась целая минута, чтобы прийти в себя и унять дрожь. Вот это «нечто» и способствовало осознанию диагноза – ему вдруг захотелось уклониться, отдернуть голову, как это было, когда в него чуть не попала смертельно опасная подкова. Но на этот раз ему не удалось повторить маневр. Не получилось.

Он, должно быть, побледнел, ибо хомяк – а врач решительно напоминал хомяка – наклонился над ним с удовлетворенно-садистским выражением лица. Тем временем сердце Матье вновь начинало биться, восстанавливалось дыхание. Исчез ужас предшествующего мгновения, но четкое ощущение непоправимости, немыслимости случившегося не исчезало. Оторопь не

проходила. Теперь ему стали понятны и ложь, и неприятие правды, которые он наблюдал в подобных ситуациях. Доверчивые смертники. Приговоренные, строящие планы на будущее… Сама мысль о смерти стала нестерпимой, вот и все. И, без сомнения, завтра или послезавтра, очень скоро, он узнает, сумеет найти средство избежать беды, отбросить самоочевидность смерти, той самой, которая ему предстоит.

– Вам нехорошо? Или, может быть, вы считаете меня зверем? Но я приверженец того направления в медицине, сторонники которого говорят пациентам правду… по крайней мере, людям зрелым.

Так, значит, в довершение ко всему, этот врач считает его зрелым! Его, Матье, он принимает за зрелого человека… в то время как единственное его желание – стать одиннадцатилетним, броситься к родителям, увы, уже давно умершим, и попросить у них помощи. Они, и только они одни, должно быть, посмеялись бы вместе с ним, разъяснили бы ему, сколь глуп и безумен подобный диагноз, успокоили бы его. Только они одни смогли бы вернуть ему уверенность в себе и, успокоив, отправить его, подростка, не ведающего, что такое смерть, спать в детскую. Правда, позднее Матье стал мысленно упрекать себя за то, что подумал в первую очередь о покойных родителях, а не о живых близких ему женщинах. Впрочем, его это не особенно удивило. Он всегда осознавал, насколько сильны привязанности детства и насколько они несоизмеримы, как ему представлялось, с привязанностями чисто мужскими. И его нынешняя ситуация – новое тому доказательство: ведь только родители были бы потрясены тем, что их сын умрет от рака в сорок лет. Все прочие сочли бы его смерть от рака естественной или почти таковой. Родственники или друзья назвали бы это событие грустным, беспредельно грустным, не только досадным, но и абсурдным. И никто из них не воспринял бы его смерть так, как он сам или его родители: как вещь немыслимую.

– Мои собратья по профессии еще скажут свое слово по поводу сроков. Я назвал вам шесть месяцев, но мог бы назвать и три месяца, один, девять или двенадцать…

– Не так уж это и важно, – машинально проговорил Матье.

Это замечание тотчас же вызвало соответствующую реакцию собеседника:

– Не надо так говорить! Сегодня вам это представляется не важным: вы живете в новой реальности первый день, но, поверьте, как только истекут шесть месяцев, вы будете бороться вместе со мной за каждый новый день! И как же вы будете негодовать, сердиться на меня, если из шести месяцев всего лишь один день будет отнят у вас! Вот увидите!

И Матье представил себе череду храбрецов, которые пытались оставаться храбрецами перед этим кретином и которые позднее, через шесть месяцев, молили небо о том, чтобы еще хоть три дня, три дня мучений, разумеется, были дарованы им свыше. В голосе врача слышались торжествующие и одновременно презрительные нотки, отчего Матье рванулся со стула: он испытывал отвращение к этому типу. Но тут же сел снова: ведь врач был единственным, кто знал правду, единственным, кто вдруг перестал быть посторонним, единственным, кто видел Матье таким, каким он теперь стал, – живым, но до тех пор, пока не кончится отсрочка. Другим человеком, позднее решит он. Так с кем поделиться этой правдой? От кого придется скрывать ее? Матье не знал. Он наверняка знал лишь то, что ему обязательно надо быть хладнокровным и сдержанным в присутствии этого презираемого им человека. Этого требует обычная благопристойность, глупый буржуазный рефлекс, за который он сам себя упрекал… но который обязывал его быть мужественным – или притворяться таковым.

У докторишки, должно быть, отлегло от сердца, когда Матье вскочил, но на лице его отразилось разочарование, когда тот снова сел. Тут Матье решил остаться, задержаться как можно дольше, даже вынудить врача вести светский разговор.

– А вы не собираетесь путешествовать?

– Простите? Нет, не собираюсь…

Матье поразился: путешествие – вот так идея! Он уже давно размышлял об этом: еще сегодня утром мечтал посетить те самые места, увидеть те самые пейзажи, те самые города, о которых всегда грезил. Но они же никуда не делись. Восток, Азия, далекие моря, горы, которыми еще совсем недавно было переполнено его воображение. А теперь они превратились всего лишь в места, куда он никогда уже не попадет. Он точно знал: теперь обо всех этих местах остается лишь вздыхать. Не будет больше морей, где можно искупаться, но будут лишь моря, в которых он никогда не искупается, которые никогда не увидит и никогда не услышит шума волн. Все, что предстояло для себя открыть, следовало позабыть. Все планы, которые хотелось осуществить, все прелестные места, куда так хотелось попасть, теперь будут существовать отдельно от него, как подарки, которые в один прекрасный день предстоит вернуть… И весьма скоро! Ибо на этой земле не было более ничего, что Матье со всей очевидностью, со всей своей радостной наглядностью мог бы назвать своим. И ведь есть люди, которые не любят жизнь, которым не дорога эта планета! Почему же именно он, влюбленный в нее, должен быть всего этого лишен? Ведь ему еще нет и сорока! Сорок так и не исполнится, ему не суждено насладиться жизнью… И в этом заключается величайшая несправедливость (если позабыть про детей, женщин, катастрофы, зверства, ежедневно потрясающие добрую старушку Землю).

– Передам вам письмо для профессора Лэнгра, – проговорил хомяк откуда-то издалека. – Не важно, обратитесь ли вы к нему или к кому-то другому. Но я вам самым серьезным образом порекомендовал бы именно Лэнгра. Моя секретарша сейчас же напечатает для вас это письмо. Ах нет! – поспешно воскликнул врач. – Она же сегодня отсутствует. Но ничего: я перешлю его вам завтра.

Секретарша, милая девушка, из-за которой Матье, собственно, и стал сюда ходить и которая была в восторге от него, в данную минуту действительно отсутствовала. Не так давно у него с этим прелестным, бесхитростным и бесстыдным созданием начался флирт; Матье не сомневался, что именно ей хомяк был обязан частью клиентуры, той, что приходила сюда из-за нее. На будущий вторник, на конец дня, у Матье было назначено с ней свидание, и этот совместный «чай» предполагал недвусмысленное продолжение. По смущенному виду врача Матье понял все. Она отсутствует во время его визита потому, что он болен. И хотя Матье не заразен, сути дела это не меняет. Ведь все не так просто. Даже абсолютно чистое желание должно иметь какое-то будущее. Человек без будущего, обреченный на скорую смерть, перестает быть желанен. Как бы дико это ни выглядело, в подобных обстоятельствах та же реакция была бы и у него самого по отношению к женщине. Желание превратилось бы в сострадание. Иначе говоря, пропало бы. Значит, теперь надо как можно дольше скрывать свое состояние от женщин, которых он пожелает и захочет соблазнить. Он не вынесет ни поневоле жалостливый взгляд женщины, ни вопроса в ее глазах вместо прямого и однозначного, заранее известного ему ответа: да или нет.

Но шесть месяцев? Что такое, собственно, шесть месяцев? Краткий миг или вечность? Сама мысль о том, что эта кровь, эта плоть, столь верная, столь выносливая, столь преисполненная желаний и сил, тайком его покинет, перестанет принадлежать ему и без предварительного уведомления, без внешних признаков предательства станет его врагом – или, точнее, логовом его врага, – сама эта мысль показалась ему еще более унизительной, чем все остальное. Он бросил быстрый взгляд на свою руку, представив себе, какое отвращение или жалость будет она вызывать у медсестры, девушки со здоровой плотью. И на мгновение ощутил приступ тошноты. Его доводила до исступления банальность происходящего: ведь он прекрасно знал, что рано или поздно умрет! Он прекрасно знал, что во Франции определенный процент мужчин его возраста ежегодно умирает от рака! Более того, ему теперь известно, что он вошел в этот процент, – вот и все! В этом не было ничего необычного, ничего удивительного и ничего примечательного. Лишь нечто сугубо банальное. А он, Матье, стократно готовый к гибели в автокатастрофе, готовый вписаться в равный или еще больший процент, приходящийся на дорожные

происшествия, не способен убедить себя в причастности к «этому», ибо данное, конкретное «это» для него невыносимо. Смерть его потрясет лишь его самого, повторял он про себя. Она удивит, она причинит боль тем, кто его любил, но она не потрясет никого в той степени, в которой, как полагал Матье, оказался потрясен он сам. Поруганный, осмеянный, униженный. Вот именно: униженный.

И тут у него сам собой возник вопрос: почему подкова не выбила у него из рук программу и не показала ему будущую жизнь в ее истинном свете: как несколько недель грядущего ужаса, – короче говоря, почему перед ним тогда не предстал тот самый отвратительный миг? «В глубине души, – убеждал себя Матье, – я готов умереть, только не хотелось бы заранее знать об этом. Как и все обреченные, которых теперь я в состоянии понять и чья слепота так удивляла меня, а порой вызывала чувство разочарования». И он, считавший себя терпимейшим – или, во всяком случае, всепрощающим – по отношению к слабостям человеческим, зачастую испытывал досаду, глядя, как борются со смертью и умирают его друзья. Тем не менее через неделю он, по-видимому, придет к тому, что уверует в нечто отличное от истины, ибо истина станет для него непереносимой. Он придумает для себя туберкулез или бог знает что. Так делают все, чтобы скрасить мысль о собственной смерти. И он поступит точно так же, как все.

* * *

Хомяк поспешно затворил дверь, иначе Матье увидел бы не только красный шарфик прелестной медсестры, забытый у входа. И Матье очутился во мраке, он неподвижно стоял на лестнице и держался за перила. Затем стал спускаться в привычном для него со школьных времен темпе охотничьего галопа. Аллюр лицеиста. Раз, два, три… раз, два, три… раз, два, три… и в четыре прыжка перескочить через площадку… раз, два, три… С шумом и закусив удила… Лестница была покрыта серо-красно-черной дорожкой в разводах, столь типичной для современных жилых домов. Только что он поднимался по этой лестнице и шел по этой дорожке. А теперь спускался по ней как ни в чем не бывало. И где-то под мышкой находились снимки, свидетельствующие о надвигающейся смерти, а точнее, о конкретных ее сроках. Сам того не осознавая, он несся со скоростью преследуемой антилопы. Надо пользоваться моментом: ведь месяца через три на него можно будет вешать табличку: «Обращаться осторожно» – и он станет ездить на служебном лифте «Отис-Пифр», точно старички или хворые. На антресоли он задержался, усевшись на ступеньку. Кисть его руки повисла, и Матье окинул ее взглядом: пульсирующие вены, напрягшиеся мускулы и сухожилия… Лучи света проникали сквозь витраж лестничной клетки, столь характерный для многоквартирных домов тридцатых годов, правда уровень освещенности был не выше, чем у циферблата часов. Матье раскрыл ладонь, с сомнением бросив взгляд на линию жизни: она оказалась гораздо длиннее, чем предсказывал хомяк, – она лгала. Матье вынул сигарету из кармана, засунул ее в рот, помедлил мгновение, прежде чем закурить, а потом сделал сознательно долгую затяжку. Не то чтобы он собирался бросить вызов судьбе или посрамить врачей-невежд, но что-то уже схватило его за горло, залезло в глаза и нос, деформировало рот. В последний раз он плакал восемь лет назад, а именно когда умерла его мать. На короткое время Матье охватил стыд, ибо он подумал, что, именно жалея себя самого, он вдруг не удержался и заплакал, хотя за восемь прошедших лет не уронил и слезинки.

Глава 2

Наступил конец сентября, и в Париже стояла теплая погода, нечто вроде бабьего лета, когда дует легкий, порывистый, но все еще теплый ветерок. Ветерок, который разгоняет облака в небе и превращает узкую пасмурную улицу в два ярко освещенных тротуара или с удручающей быстротой в нечто противоположное, похожее на «тень зебры», опустившейся на Париж.

Стоя у ворот дома, Матье разглядывал город, свой город, повинующийся капризам осени, и впервые с раздражением воспринимал его очарование. Машина стояла неподалеку, но Матье побежал к ней с опущенным взором, словно прохожие могли, несмотря на спортивную куртку и ниспадающую на лоб прядь, прочесть на его лице смертный приговор. На лице смущенного до неприличия, вызывающего жалость полутрупа. И это чувство стыда до такой степени вывело Матье из равновесия, вызвало у Матье столь новое для него ощущение вины, что он целых десять секунд, задыхаясь, искал стартер. Затем он рванул с места, резко выжав газ, и машина, не привыкшая к столь зверскому обращению, взревела, икнула и заглохла. Матье откинул голову назад и зажмурился. Надо было переждать, когда пройдет ощущение тошноты. Это состояние незащищенности, внутренней хрупкости, сама мысль о том, что костяк непрочен и может сломаться под тяжестью собственного веса, ощущение массы собственного тела и приход в себя (одновременно сопровождаемые паникой и ностальгией) вынести было невозможно. Словно он уже прощался со своим прекрасным Парижем!.. Не без вскипающей злобы, точно кто-то этот город у него преднамеренно отнял… Но кто? Матье уже давно не верил в Бога и, по правде говоря, не раскаивался по этому поводу, разве что в исключительных случаях, подобных сегодняшнему. Нет, никакое не божество, католическое или православное, никакой не рок, ни кто-либо еще, столь же всемогущий, не лишал его всех благ мирских. Матье никогда не верил ни во что иное, помимо некоей естественной связи между ним самим и его образом жизни. И всегда существовала некая сила, распространявшая радости, горести и душевные порывы Матье на окружающих. Да, в его руках всегда было более мощное оружие, гораздо больше козырей, чем у других, – все то, что сегодня было выбито из них одним ударом, оставившим его голым и немощным перед лицом себе подобных. Матье прекрасно понимал, что те, кто следовал за ним на протяжении тридцати лет, те, кто выступал в роли его друзей, его возлюбленных, а то и мимолетных увлечений, те, кто позволял себе нестись, причем, как правило, с благодарностью, в кильватере его могучих жизненных сил, обретая то же, что и он, ускорение, – все они, как только узнают, что он болен, отвернутся от него, словно он их сознательно ввел в заблуждение. Они, само собой разумеется, его пожалеют, но тем не менее покинут в беде. И как ему удастся, начиная с этого мгновения, все изменить, перестать смотреть на жизнь как на долгосрочный дар, чем она и была для него до сих пор? Само собой, ощущение жизни, СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ жизни, никогда надолго его не покидало, но он раньше не знал, да и не мог знать, что на деле во всем своем зыбком блеске означают слова «жить» и «ждать от жизни». Познать это никто не успевает, никому и никогда это не удается.

Он ехал по набережным, свободным от туристов, которых возили к Парижскому порту через Аньерскую пристань и причал Жанвийе. То и дело попадались грязноватые лодчонки, полузатопленные баржи, развалившиеся хижины, разбросанные по обычно пустынным островам – этот участок Сены носит прозвище Плавни, или Новый Орлеан; на глаза Матье то и дело попадались рыболовы с удочкой, явно не надеявшиеся что-нибудь поймать; другие просто лежали на вытоптанной траве под сентябрьским солнцем и читали газеты. Матье и в голову не пришло позавидовать этим людям: будущей осенью они, по-видимому, снова окажутся здесь, чтобы в очередной раз увидеть новую осень и новые красные листья, – они, но не он. Сама эта мысль представлялась ему абсолютно непостижимой. Зато машина шла хорошо. Мощный

мотор ровно мурлыкал, и вдруг Матье припомнил, как продавец со смехом уговаривал его купить именно эту машину, заявляя, что она его переживет. И они вместе весело посмеялись над столь невероятным предположением, как частенько смеются над шутками или замечаниями, беспечно радуясь жизни.

Полдень миновал, и Робер успеет уйти, если Матье не поспешит. Робер подскажет, что делать. Это настоящий мужчина, друг. Человек, способный помочь тем или иным образом. В противоположность Элен, считавшей его эгоистом, и Соне, полагавшей его вульгарным, Матье уже давно видел в Робере Гобере своего единственного и лучшего друга. Матье был далеко не в восторге от своих друзей-мужчин, но в данном случае он решил, что ему следует положиться на Робера как на источник силы и опору в трудный час.

Контора Робера располагалась на набережной Сены, неподалеку от Парижского порта. Матье и Робер практически не ездили друг к другу на работу, и появление Матье скорее выбило Робера из колеи, чем обрадовало.

– Он с утра разговаривает по телефону с Гамбургом и Лондоном, – проворковала секретарша со странной смесью заносчивости и робости в голосе, словно она не только гордится возможностями телефонной связи, но и несет ответственность за ее тарифы.

Когда Матье вошел в кабинет Робера, тот, не вставая из-за стола, знаком пригласил его сесть. Походкой и шириной плеч Робер напоминал Матье, но того никогда не брали в команду регбистов, и он пользовался меньшим успехом у женщин. Лестные шутки Матье по поводу любовных побед друга не вызывали у Робера и тени смеха. Элен считала, что дружеское расположение Робера лишь ширма, за которой прячутся недоброжелательство и ревность, однако Элен всегда плохо отзывалась о приятелях мужа, и Робер был одним из тех немногих друзей, что у него остались, которые не поддались ее чарам.

Матье сел напротив Робера и отметил, как и в прежние свои редкие визиты, как лезут в глаза претензии на современный стиль в обстановке кабинета. Да, именно сегодня его должны волновать эстетические проблемы – самое время!

– Привет! – Робер расплылся в улыбке. – Что тебя сюда привело? Нужда или потребность в алиби?

– Ни то ни другое, – ответил Матье. – Просто судьба сыграла со мной злую шутку.

– Ты влюбился? Ой, прости!..

Зазвонил телефон, и Гобер снял трубку, ладонью прикрыл микрофон, проговорив: «Лондон!» – и тут же перешел на беглый английский. Да, Гобер делает успехи; похоже, он делает успехи во всем. Да, конечно, Робер освоил английский с помощью Assimil, методики лингвистической ассимиляции и пластинок – отчего Элен хохотала до слез, – но теперь он говорил хорошо, без запинки, Матье же в английском спотыкался на каждом шагу. И все же он был прав, не тратя вечера на пластинки и методику, какой бы она ни была эффективной: зачем ему сегодня английский? «To be or not to be, that is the question…»[1] Да, конечно, ради такого случая…

Гобер положил трубку.

– Ты меня извини, – проговорил он, – но я нахожусь в процессе подготовки и подписания эксклюзивного контракта с Си-би-эс на Европу. Только и всего! Представляешь? Это тебе не шаляй-валяй какой-нибудь!

– Браво! – вздохнув, произнес Матье.

Гобер подался вперед, всем своим обликом демонстрируя, до какой он степени деловой человек.

– Всего-навсего «браво»! Ну так что? Что там с тобой стряслось?

[1] «Быть или не быть – вот в чем вопрос» *(англ.). У. Шекспир. Гамлет.*

– Сегодня утром я побывал у врача. У меня какая-то гадость в легких. Мне осталось жить примерно шесть месяцев.

Гобер откинулся в кресле, лицо его внезапно посуровело и даже, как подумал про себя Матье, стало «мраморным». Превратилось в лицо римского героя, стоящего под ударами, но побеждающего страхи. «В частности, мои», – подумал Матье, отвлекшись от разговора.

– Как? Что это за история? Тебе делали флюорографию? Сканирование? Он серьезный специалист, твой врач? Кстати, кто это?

– Он сменил доктора Жуффруа, когда тот отошел от дел, – знаешь, моего постоянного врача. Он идиот, но врач серьезный.

Зазвонил телефон, и Гобер все с тем же невозмутимым видом снял трубку. «Извини – сам понимаешь!» – выпалил он; в его извинениях прозвучали властные нотки. И Робер перешел на беглый английский, время от времени бросая суровый взгляд на Матье; в конце концов он вышел из себя, заговорил резко, сухо и повесил трубку, не удостоив собеседника вежливой формулой прощания.

– Они плюют на весь мир, эти англичане! Воображают, что Европа принадлежит им!.. Ладно, вернемся к твоим проблемам! Как ты можешь доверять никому не известному врачу, по существу… сменщику? Да ты шутишь! Ты еще всех нас проводишь на кладбище, Матье! Вот увидишь! Готов держать пари!

«Ничем не рискуя», – иронически заметил про себя Матье, но вслух тотчас же отреагировал на реплику Робера:

– Но я уже сделал сканирование, о котором ты говоришь. По самой последней методике.

Он услышал в собственном голосе жалобные нотки, и ему стало противно. Противно и стыдно.

Вновь зазвонил телефон, и Гобер, выругавшись, снял трубку. «Оставят они меня в покое или нет?» – задал он риторический вопрос, прежде чем возобновить телефонный разговор с закрытыми от отчаяния глазами.

– Алло… Yes… Yes! Ah, I prefer that!.. Yes, I say: I prefer that!.. But what price?.. OK! OK… What?.. Then, I listen to you! Oh, I shall be at Roissy Friday… OK… OK… Thank you…[2]

Он поднял взгляд, уставился в стену позади Матье, как победитель, взмахнул кулаком, призывая друга в свидетели своего торжества, и заявил, прежде чем положить трубку:

– That's reasonable! OK! See you Friday![3]

Разговор окончился.

– А, нет, нет!.. – пробормотал он. – А вдруг они подумают… Послушай-ка… Прошу прощения! Скажу-ка я, чтобы его послали ко всем чертям, если ему вздумается позвонить еще раз!

Робер снял трубку, связался с секретаршей и распорядился, чтобы его ни с кем не соединяли, оставили в покое. «Даже если это будет сам папа!» – добавил он с решительной улыбкой, тем самым демонстрируя, как ради старой дружбы он готов рискнуть обвинением в богохульстве и отлучением от церкви.

– Что ж, давай вернемся, старик, к нашим делам. Ты взволнован, и это нормально: есть от чего! Но что-то мне не верится. Вот если бы ты побывал у Лэнгра, или Барро, или еще у какого-нибудь светила, тогда действительно мне стало бы не по себе… конечно, если бы они подтвердили диагноз. Поверь мне, сегодня ты просто имел дело с кретином и ничтожеством. Но куда же ты?

---

[2] Да… Да! А, я предпочитаю это!.. Да, я заявляю: я предпочитаю это!.. Но по какой цене?.. О'кей! О'кей… Что?.. Тогда я вас слушаю! О, я буду в Руасси в пятницу… О'кей… О'кей… Спасибо… *(англ.)*

[3] Это разумно! О'кей! Увидимся в пятницу! *(англ.)*

Матье встал. Ему вдруг ни с того ни с сего захотелось уйти. Кабинет все больше раздражал его в плане эстетики.

– Мне просто пора бежать, – проговорил Матье.

– Только не вздумай об этом рассказывать своему семейству, – предупредил Гобер. – Или поднимется такой шум, бедный мой друг!

И Робер, покраснев слегка, улыбнулся Матье. А потом с силой похлопал его по спине, точно проверяя прочность скелета – и, естественно, убедительность своих доводов, – затем, проводив Матье до двери, заявил:

– Вот увидишь! Увидишь, что я прав. Это ты-то больной? Да на моей памяти ты ни разу не болел. А если тебе хочется как можно скорее побывать у Лэнгра, просто предупреди меня: его жена и моя свояченица… ну, у них все вот так! – воскликнул он, переплетя большой палец с указательным, а чтобы не выглядеть безудержным оптимистом, постучал этими пальцами по дереву. Его «Звони мне при любых обстоятельствах, понял? Звони сразу же, как только тебе станет известен результат!» еще долго звучало за спиной у Матье, который бежал, бежал, сам не зная куда.

Матье вел машину, ничего не чувствуя и ни на что не реагируя, не ощущая ни малейшей возможности дать оценку поведению Гобера; потом закурил, лениво затянулся, не задумываясь о вызове судьбе. Ах, милый Робер!.. Да, конечно, этот рак свалился на него не вовремя, да и не только на него!

Похоже, он оставил радиоприемник невыключенным. Нагнулся, чтобы выключить его, и замешкался – от резкого гудка чуть не треснула его голова. Со склада справа на шоссе выезжал грузовик. Водитель увидел, что машина Матье быстро приближается, настолько быстро, что столкновение казалось неизбежным. Матье тормознул, затем резко взял влево, да так, что залез на тротуар, потом столь же резко – вправо и, чуть сбавив скорость, оказался на чудом не занятом участке дороги, позади грузовика; наконец он вывернул на бульвары и продолжил движение в том же направлении. Он едва не попал в аварию, в серьезнейшую дорожную катастрофу; через зеркало заднего вида он заметил, как грузовик остановился и как из него выскочили встревоженные люди, указывающие в его сторону. Матье ни на кого не наскочил, он просто убегал. Но мог и наскочить. Руки-ноги дрожали, как всегда после дорожного происшествия, не важно, реально случившегося или счастливо миновавшего, и на миг он возгордился своей реакцией, но тут же стукнул по рулю кулаком. Какой же он идиот! Вел себя как настоящий дурак! У него в руках было решение вопроса, будто дарованное ему свыше, решение, избавляющее его от многих дней и ночей, наполненных страхом и страданием, что ожидают его впереди. Безо всяких просьб и тягот морального выбора пришло идеальное решение! Он же мог поступить по-умному, перехитрить судьбу, а умудрился упустить единственный спасительный для себя шанс, последствия которого к тому же не легли бы тяжким бременем на близких, – иными словами, смерть была бы пристойной, быстрой и случайной. Какого же он свалял дурака! Вот именно, ничего другого не скажешь: свалял дурака! И руки-ноги все еще продолжали дрожать, переполняя его злобой на самого себя, и он прибавил газ, словно чудеса в состоянии повторяться и ему вновь будет предложена в самом скором времени прекрасная, мгновенная смерть на ровном месте.

* * *

Гнев его поутих только у моста Сен-Клу, а точнее, возле парка, по которому он катался несколько минут, один-одинешенек на пустынных аллеях, подернутых ржавчиной осени. Затем он затормозил, выключил двигатель и вышел, после чего прислонился спиной к дверце и глубоко вздохнул, потянулся, осмотрелся вокруг, взирая на безмятежный пейзаж и не получая от этого зрелища ни малейшего удовлетворения. Тут-то и крылась истина: он на протяжении

нескольких недель в состоянии будет совершать все действия и поступки человека, живущего нормальной жизнью – при этом счастливой жизнью, – но в любой момент может настать миг, когда какая-нибудь мелочь даст ему понять, что далеко не все в порядке, и это перечеркнет все остальное. И он отошел от машины, прогулялся минут пять и остановился на лужайке перед деревом (ни одного прохожего, ни одного кепи на горизонте). Прислонился головой к основанию дерева и вытянул ноги. Стал разглядывать трепещущие листья там, высоко, очень высоко, на самой вершине то ли каштана, то ли бука, то ли вяза, то ли бог знает какого дерева. В этом году вязы гибнут во Франции тысячами. Они становятся жертвами печально известного заболевания, косящего вязы наподобие рака. Тьма вязов сгинет одновременно с ним, с Матье.

И людей, и вязы сгубило то же зло,
Истончило в нити, из жизни унесло.

Такого рода стишки иначе чем «вирши» не назовешь. Само слово «вирши» словно пролилось на него теплым дождичком, вызвало у него чувство умиления, как некоторые песни, исполняемые по радио, как нежданные воспоминания о том, каким он был. У него сложилась своеобразная классификация воспоминаний, – в частности, он делил их на те, что причиняли боль, те, что забавляли, и те, что вызывали чувство вины или вынуждали забыть их поскорее. Матье полагал, что помнит все. Тогда откуда же в памяти всплыло раскрытое окно, выходящее на площадь у мэрии, бабушка, держащая его за руку, собственный голос, вечно просящий, чтобы деревенский оркестр исполнил любимую серенаду со множеством переливов, от которой Матье приходил в восторг?.. И этот ярко-рыжий мальчик, читавший ему стихи собственного сочинения, «вирши», как называл их отец?.. И сам Матье, который до того, как возмечтал стать пожарным, пилотом реактивного самолета, электриком, актером, страстно жаждал быть «виршеплетом». «Мой маленький Виршеплет», – говаривала бабушка, прижимая его к себе; это было зимой, когда родители отсылали его прочь, в старый дом. Через пять лет он уже стыдился и бабушки, и самого себя. В пятнадцать стыдился их всех. Темп жизни становился таким быстрым, пожилые дамы – такими хрупкими, а маленькие мальчики – такими неблагодарными.

Там, наверху, на самой вершине дерева, он уже видел не отдельные зеленые листья, а одно расплывчатое зеленое пятно. Пролился, ровно и без толчков, водяной поток, тепловатый, приятный, ласкающий ему щеки в пустынном парке. Без сомнения, то были слезы Виршеплета.

Глава 3

Это было стандартное «кафе-табак». Огромное, несовременное, из тех, какие Матье очень любил и какие в Париже почти исчезли. Там находились завсегдатаи из соседних новостроек и праздношатающиеся бездельники, прилипшие носом к окнам. Хозяин, стоявший за оцинкованной стойкой, где находились касса и сигареты, и смотревшийся как завистливый и властный монах-иезуит, бросил на Матье полный недоверия взгляд, который на какое-то мгновение привел того в замешательство. Тем не менее Матье уселся у стойки, заказал бокал белого вина и, поддавшись порыву, выпивку для всех присутствующих. Давно он не захаживал в такого рода бистро. И в памяти его вмиг всплыла вся эта обстановка, вся эта жизнь, состоявшая в основном из наскоро выпитых рюмок, ресторанных заказов, общения с дружками, неясных угроз и идиотских пари, атмосфера волшебных сказок: нереальная – нереальная и приятная.

– Ну так угощайте же всех! – повторил Матье, демонстративно облокотившись о стойку и глядя прямо в лицо хозяину, который, однако, не переставал недоверчиво рассматривать клиента.

Следует отметить, что в те времена уже никто не угощал за свой счет посетителей заведения. Никто не оплачивал выпивку своих собратьев по роду человеческому без особой на то причины. Эпоха подарков миновала. Подарки не одобрялись, не признавались, не принимались налоговым ведомством как оправдание (эта тема узаконенной жадности подпитывала застольную беседу на одном из недавних обедов). И Матье предался ностальгическим воспоминаниям о джентльменах девятисотых годов, разорившихся из-за жен, но не столь злобно преследуемых фискальными службами и в гораздо большей степени, чем сегодня, находивших с ними общий язык. А кстати, что он сможет оставить своей жене? Своим ЖЕНАМ? Его архитектурное бюро было уже поделено на три части и в нынешние кризисные времена дышало на ладан. А проект для Пуасси, столь дорогой его сердцу, где эстетика и нравственность наконец слились воедино и за который он бился на протяжении двух лет, вдруг удивительным образом лишился для него всякого смысла. Как же так? В одночасье он стал для него чужим, для него, прежде столь увлеченного своим делом? Но кто способен устоять перед лицом близкой смерти? Кто? Что? Быть может, великая любовь?.. Которой он не испытывал. Которую он никогда больше не испытает.

А пока что хозяин сыграл свою роль, и одновременно с любопытными взглядами, направленными на Матье, в его сторону потянулись рюмки. А он в очередной раз испытал чувство стыда, неловкость по поводу того, что теперь он не такой, как все, – стал человеком без планов и проектов, без будущего, человеком, лишенным желаний. Сколько таких бедняг попадались ему на улицах, разрушенных, как и он, изнутри и, подобно ему, стыдящихся собственного существования! Да, решительно нет ничего романтического в отсутствии будущего! Все очарование жизни покоится во Времени, с заглавным «В», как это подчеркивал Пруст. Ах да, Пруст! Матье поклялся себе, что перечтет, а точнее, дочитает всего Пруста прежде, чем умрет. Другого времени не будет, если, конечно, не пропадет желание. Как будто у него и в самом деле могут возникнуть еще какие-то желания, помимо потребности рассказать кому-нибудь о том, что с ним приключилось. Поделиться, преломить хлеб беды, как «до того» – хлеб радости, с любым человеческим существом, кому он небезразличен. Прежде в таковых недостатка не было. Он даже многими из них пренебрегал. Его любили за здоровье, за уравновешенность, за умение наслаждаться жизнью, за любознательность и снисходительность. Что от всего этого останется через три месяца? Да ничего.

Он бросил взгляд на часы над стойкой. Час дня. К хомяку он пришел в одиннадцать. И пробыл у него около часа. Всего час? Или УЖЕ час? И то и другое можно воспринимать или обозначить как самое худшее, самое долгое, самое тяжелое и самое незначительное время его

существования. Он знаком указал владельцу заведения на бутылку белого вина и по выражению лица хозяина понял, что пора вынуть из кармана деньги и выложить их на стойку.

– Еще раз по порции для всех! – воскликнули гарсон и хозяин, на этот раз засуетившиеся по-настоящему. Бокалы вновь потянулись к Матье, и раздались голоса: «Спасибо!», «Спасибо, мсье!», «За ваше здоровье!», «Еще раз по белому!» и т. п. Следует сказать, что Матье был внешне привлекателен – даже мужчины признавали это. Он обладал типично французским добродушием, прекрасно сочетавшимся с обликом регбиста, каковым он и был. (С точки зрения женщин, в нем было и нечто такое, что и не определишь столь благодушным словом.) Но в данный момент он был человеком без имени, что до некоторой степени раздражало «Портовый бар», как называлась его новая гавань.

– За что пьем? – спросил его сосед, предварительно осушив рюмку на тот случай, если ему пришлось бы сделать судьбоносный выбор: чокаться ли с фашистом или коммунистом. Чести его теперь ничто не угрожало: рюмка была пуста.

– Что ж… за ваше здоровье! – проговорил Матье. – За мое, за ваше, за здоровье всех, за жизнь!

Послышались возгласы одобрения, рюмки разом опустели и опустились. Посетители почувствовали, что обязаны проявить учтивость к столь щедрому незнакомцу. Хозяин тоже в конце концов проникся уважением к неизвестному клиенту, оживившему коммерцию. Началось своего рода соревнование, и на место опустевших бутылок выставлялись полные.

Заведение было веселым, и это винцо определенно повело себя предательски, мало-помалу замещая кровь в жилах Матье. Ведь не может же джентльмен отказаться от рюмочки: и клиенты не заказывали «круговую», каждый тем не менее счел себя обязанным предложить выпивку «новенькому».

Половина второго, два. Казалось, что окружающие позабыли обо всем на свете, ибо священный час обеда уже давно настал. Сотоварищи Матье по стойке оказались вполне приличными в общении людьми, если не считать одного надоедливого типа, в третий раз перечислявшего с напускной наигранностью всех любовников своей жены и, разумеется, запутавшегося окончательно, да еще одного из присутствовавших, делавшего вид, будто он сотрудник ДСТ и в курсе всех политических скандалов века, однако вынужден следить за каждым своим словом.

– Внимание! Больше ни слова! Молчание! Поверьте мне: рот следует держать на замке! – выкрикивал он, попеременно поднося к губам указательный палец и рюмку и меняя их местами в бешеном темпе.

Не собираясь следовать этому ритму, Матье тем не менее без устали пил белое рюмку за рюмкой, одновременно куря сигарету за сигаретой; и, по мере того как организм его усваивал спиртное – что для него продолжало оставаться источником наслаждения, – все жизненные проблемы расставлялись по местам. Придя в это кафе как незваный гость, Матье ощущал, как мало-помалу он становится званым и желанным (даже если этот званый гость становился все более желанным по мере того, как он платил все больше и больше). И он почувствовал себя другом, родным и близким всех этих людей, которых, в свою очередь, стал воспринимать как друзей, родных и близких. Болезнь и смерть ушли куда-то на задний план, и тому появилась тысяча оправданий: да, ему предстоит умереть, однако утверждает это пока что один лишь хомяк. Да, возможно, на этой земле ему остается прожить всего шесть месяцев, но он проживет их по-царски. Он бросит вызов этим неведомым микробам – слава богу, для этого у него хватило смелости и твердости натуры. Да, он умрет, но это будет переход в другую жизнь или уход на другую планету, ибо есть в нем, в Матье, нечто бессмертное, например душа. И это не громкая фраза или дань религиозной догме, а радостное, жизнеутверждающее и добровольное смирение. Красная кровь Матье была чересчур красной, даже если она когда-то была голубой, как утверждала Элен, тайно влюбленная в аристократию. Кровь его – а она наверняка стала трехцветной после того, как сегодня в нее влилось столько белого вина, – так вот эта

трехцветная кровь будет поддерживать его довольно долго. Сколько раз ему приходилось слышать об уму непостижимых и так до сих пор и не понятых – не понятых медиками-специалистами – случаях исцеления, когда больные опровергали самые мрачные прогнозы и жили по двадцать-тридцать лет. А чем он хуже? В конце концов, в равной степени безумными являются оба умозаключения: что он скоро умрет и что он выживет! А может, ему отправиться в Лурд в сопровождении Элен и Сони, поддерживающих его с обеих сторон? Он представил себе, как они все трое стоят у грота, что уже само по себе станет чудом номер один, причем каждая из женщин будет желать его исцеления и смерти соперницы. И он вообразил себе три их силуэта на фоне грота, больше напоминавшего грот Людвига II Баварского, нежели грот Лурда, а может быть, ему это так представлялось потому, что фильм Висконти он видел, а Лурд – нет. И он рассмеялся, что совсем не вязалось с рассказом завсегдатая скачек о мошенничестве на ипподроме, из-за чего тот надулся и отошел в сторону. Человек из ДСТ, «рот на замке», воспользовался этим и проскользнул на его место.

– Скажите, только без шуток, что сегодня за праздник? Можете на меня рассчитывать: я никому не скажу, у меня рот на замке! Но мне так хочется знать! Умерла ваша теща?

Он расхохотался.

– О нет! Пока нет! Но и за это стоило бы выпить, – проговорил Матье, который и в самом деле терпеть не мог мать жены.

Это было логично! Он ненавидел тещу, обманывал жену с молодой любовницей, был на самом деле типичным заурядным французом. Единственное, что несколько выделяло его из общей массы, заключалось в том, что ему предстояло умереть значительно раньше, чем большинству ему подобных; к тому же… к тому же он знал об этом. Ну чем не повод для выпивки! Да, по этому поводу можно выпить, но говорить тут нечего.

Вот так-то. Смерть, как и жизнь, абсурд, и смешно было бы рассчитывать на то, что последние свои месяцы он посвятит поиску ответа на вопрос «Почему?». Подобно трем четвертям своих близких, он всю свою жизнь, начиная с того возраста, как стал на нее зарабатывать, отвечал на вопрос «Как?». Вопрос «Почему?» оставался прерогативой подростков и профессиональных мыслителей. И не было никаких доказательств тому, что поиск ответа на этот вопрос вменяется в обязанность умирающим, то есть будущим мертвецам; а он ощущал себя живым, как никогда, благодаря белому вину, благодаря алкоголю, который столь несправедливо обозвали злом нынешнего столетия, хотя на самом деле алкоголь – друг человека, панацея для души, сообщник тела. Почему бы не признать его достоинств, его столь радикальный, столь могучий, столь спасительный, столь действенный эффект? Не признать того, как вино благоволит человеку, как оно способно облегчить бремя существования, раздвинуть горизонты радости и опоэтизировать жизненные впечатления, оказать поддержку робким, внушить надежду отчаявшимся, развеселить обиженных? А безоглядность, высокий порыв, что алкоголь привносит в мир всеобщей посредственности? Как же не поблагодарить этот чудесный костыль, столь ловко избавляющий от тягот хромоты человеческую душу? Почему бы не вглядеться повнимательнее во взаимосвязь интеллекта и алкоголя, в их глубочайшее сродство, в источник их взаимодействия? Теперь Матье обратил свой отрешенный, безмятежный, смиренный взгляд на скоротечность своей жизни и значимость предстоящей смерти, взгляд тем более смиренный, что за час до этого он, Матье, запаниковал и перепугался (просто-напросто он тогда пил всего лишь чай с лимоном). Матье спокойно размышлял о том, что у него еще осталась возможность покончить с собой – через шесть месяцев или через два дня, ведь для этого у него есть охотничье ружье, – и это решение показалось ему столь же уместным и удобным, сколь невозможным, устрашающим и трагическим представлялось еще два часа назад! Алкоголь вновь сделал Матье Казавеля самим собой и вернул ему смелость и самоуважение.

Само собой разумеется, он очень скоро опять придет в «Портовый бар», если это случится в воскресенье, его, наряду с узким кругом привилегированных завсегдатаев, пригла-

сят пообедать и насладиться вкусом фаршированной капусты, приготовленной женой хозяина, уроженкой юго-западных краев. Хозяин теперь друг Матье, настоящий друг, как и клиенты заведения. И Матье громогласно поклялся еще раз прийти сюда. И если за шесть месяцев он не выберет воскресенья, чтобы попробовать фаршированной капусты, то это будет просто-напросто означать, что он не заслуживает жить дальше.

Глава 4

Солнце выиграло тяжкую битву, но не нуждалось в том, чтобы отпраздновать победу по-настоящему, ибо его враги исчезли, убежали с небес, в отличие от дождя, который, беря верх в сражении, выставил напоказ свои черные эскадроны, афишируя наличие всевозможнейших туч и облаков. Час обеда миновал, а Матье даже не помышлял о том, чтобы перекусить в обществе какого-нибудь типа. Он немного попетлял по улицам, а затем остановился у Дома инвалидов. Перед ним простирался мост Александра III, весь золотой при боковом, уже ощутимо осеннем освещении. В такой точно день, на этом самом месте он встретил Матильду, то есть саму любовь, ведь она его любила точно так же, как и он любил ее, но продолжалось это только год.

Матильду, о которой он запретил себе думать уже много лет назад. Матильду… Может ли он позволить себе умереть, так и не повидавшись с нею? Чтобы произошло нечто непостижимое, неуяснимое, недопустимое в человеческом существовании? Но, в конце концов, идея умереть, так и не повидавшись с Матильдой, была не более странной, чем возникшая в свое время идея жить без нее… Однако применительно к ожидавшему его периоду жизни одно воспринималось им безоговорочно, а именно отказ от прошлого. Никоим образом он не собирался погружаться в то, что когда-то было его жизнью, ибо тогда это была жизнь совсем другого человека. Человека, вообще не думавшего о смерти, тем более о точной дате ее наступления. Другого человека. Ему следовало жить без прошлого, поскольку оно, это прошлое, было не вполне достоверным; да и без будущего, ибо таковое у него не предвиделось. Жить ему следовало в настоящем. Да еще научиться этому! Прежде он нередко хвастался своим умением жить, и его даже упрекали нередко: «Матье живет только настоящим». А с его точки зрения, искусство жить равнялось определенного рода эпикурейству, стремлению наслаждаться, готовностью совершать такие поступки, которые тешили бы его гордыню и доставляли удовольствие. Однако на пороге того, что его ожидало, у него более не находилось ни слова, ни теории, на которые можно было бы опереться, чтобы наслаждаться жизнью в чистом виде и противостоять ударам судьбы. Такие слова и выражения, как чувственность, язычество, дар судьбы, наслаждение жизнью, счастье, как, впрочем, и мазохизм, извращенность, героизм и нарциссизм, представлялись ему целиком и полностью лишенными содержания и вводящими в заблуждение, ибо, как ему казалось, они были выдуманы для того, чтобы объяснить зигзаги человеческого поведения – от обжорства за обедом до истинного любовного томления. В душе Матье не осталось ничего, в чем он был бы безоговорочно уверен. Нет, он был уверен в том, что когда-то был несчастлив или счастлив, в том, что ему приходилось бороться со своими чувствами тем или иным способом. Да, он был уверен в том, что в двадцать лет мечтал строить дворцы и великолепные дома, наполненные воздухом, свежим ветром и людьми, довольными, что живут именно здесь, но вскоре эти мечты сменились необходимостью строить солидные дома на прочном фундаменте, где ванны не превращались в развалины при первом же наводнении, да и кровли не улетали прочь при первом же ветре, – конечно, все это является первейшей обязанностью архитектора, но обязанностью, с трудом претворяемой в жизнь, особенно архитектором, работающим на государство.

Он не очень ясно представлял себе, как ему следует теперь быть, – хорошо бы было посоветоваться с кем-нибудь из друзей. Скажем, с Мишелем, с которым посещал Сорбонну, а затем ходил на пленившие их тогда занятия в Политехнической школе, после чего они вдвоем принялись за изучение архитектуры. С Мишелем, спутником его юности на протяжении четырех, а то и пяти лет, с кем вместе он познавал девушек и Париж, кто был частью его существования, такого, какое бывает только в двадцать лет, то есть существования истинного: драматического, лирического, насыщенного, комичного. Ночи напролет они вдвоем читали наизусть Аполли-

нера, Элюара, Рене Шара и Бодлера – на набережных, сидя на скамейках, в маленьких кафе. Болтали о всякой всячине, меланхолично, а то и цинично занимались любовью с девицами, которые хохотали при этом. Мишель не даст ему пасть духом. Не будет делать вид, будто не понимает, в чем дело, будто ему не верит, и вообще не уйдет от сути дела, спрятавшись за телефонные разговоры и предлагая моральную помощь, как хромому – костыль.

Но, по правде говоря, что Матье знает о Мишеле? Не исключено, что Мишель стал одним из тех, кого успех мог сделать подтянутым и замкнутым, а неудача, напротив, – расплывшимся и сально-словоохотливым; успех и неудача – два слова, которые можно было бы заменить такими простыми понятиями, как карьера и движение по воле волн. Не исключено, что Мишель стал красномордым и грузным, безразличным к другим и лишенным естественного чувства сострадания – тем, кто искренне влюблен в разного рода «пустяки», как и остальные, как все. И впервые за прошедшие два часа, после всего того, что Матье увидел и услышал, у него возникло чувство презрения к Роберу. Тот Матье никогда не был по-настоящему наблюдателен и, по словам Элен, склонен был к нравственному примиренчеству, хотя сам Матье считал себя скорее медлительным и ленивым в суждениях или осуждениях. Нет, Мишель, должно быть, остался прежним: он может поговорить с ним о жизни, о смерти и о своей кончине как о вещах вполне нормальных, но потрясающих воображение, поэтичных, во всяком случае интересных. Его банальное заболевание Мишель превратит в сюжет для размышлений, для дискуссий и не наговорит нелепиц, которые показались ему столь омерзительными в устах Робера – столь же омерзительными, как его отказ признать случившееся.

Эти предстоящие шесть месяцев, должно быть, окажутся не только и не столько горестными, сколько тоскливыми. Во всяком случае, для нынешнего Матье, ироничного и проницательного, устроившего себе в это утро импровизированный праздник, несмотря на то что все пошло прахом. Для Матье, легкого на подъем, которого раздражает Матье больной, страдающий и ноющий, равно как и героический Матье-стоик. Так же, впрочем, как и Матье вымученно-печальный, не делающий тайны из своей болезни и вызывающий только стыд. Или Матье-архитектор, симпатичный и больной раком, повеса и обманщик, трус, мирящийся с чем угодно, сентиментальный эгоист. Так кем же, в конце концов, ему хотелось бы быть? Пикассо? Талейраном? Да никем. Просто самим собой. Что может показаться апогеем тщеславия, но в действительности лишь означает Матье, вечно любимого Матильдой, лучшего, более одаренного, более счастливого Матье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.